ПРАВДА 30 июня 1989 года ● № 181

Наш собеседник—писатель Виктор АСТАФЬЕВ

НЕ ЗНАЕТ СЕРДЦЕ СЕРЕДИНЫ

Когда полторы сотни поэтов оказываются на одном корабле, переизбыток стихов неизбежен. В музыкальном салоне, за обеденным столом, на палубе, высвеченной полуночной луной,— всюду слышишь рифмованный ямб и хорей. Ухо настолько привыкает к ритмической фразе, что в конце концов обыкновенная речь не нараспев начинает казаться чудом — безыскусным, как, скажем, рубленая изба в прихотливом дачном поселке.

Может быть, сработал именно принцип контраста, когда на четвертый день плавания по Днепру я постучал в каюту № 431. Здесь обитал прозаик.

Виктор Петрович Астафьев сидел на диване в своем неизменном кожаном пиджаке, вызывающе черном среди разгорающегося лета. Корабельный «люкс» выглядел необжито и уныло, напоминая комнату мужского общежития. Даже подаренные кем-то из почитателей цветы увядали на пустом столе, не поставленные в вазу. Изящная керамическая посудина красовалась поодаль — без всякого внимания, будто деталь интерьера, до которой нет дела.

Астафьев бросил пиджак на спинку дивана, расстегнул ворот рубахи, и мы, до того вовсе не знакомые, повели разговор, сродни любому дорожному.

Что же увлекло в поэтический круиз по шевченковским местам сибиряка, жадного до рабочего стола и потому редко покидающего родную енисейскую деревню?

— Воевал я на Днепре, как раз близ Тарасовых мест,— объяснил Виктор Петрович.— Тут был ранен, тут лежал в санбате. Позвали меня сюда равно два обстоятельства: и глубокое уважение к гражданскому подвижничеству Шевченко и собственная военная судьба.

И он принялся рассказывать о только что случившейся встрече со своей ратной юностью.

— Какие чувства пережили вы, побывав на месте боев почти полвека спустя?

— Когда спрашивают о чувствах, это всегда ставит в затруднительное положение. Я не девица и не юнкер. Те, наверное, ответили бы, а мне сложно. Господь его знает, какие чувства. Вот о внешних впечатлениях сказать могу.

Часто казалось, что война отодвинулась так далеко, будто она была в другом мире, во сне. И действительно, земля уже не похожа на ту, что топтал сапогами. Даже узнаешь ее не сразу. Попробуйте вернуть себя с рубежа шестидесяти лет к двадцатилетнему. Каково?

Но кое-что я все-таки узнал в тех местах, где воевал. Сперва нашел на карте название — Шендеровка. Потом, пока ездил, вспомнил еще одно село — Почапенцы. Командир дивизиона часто произносил это название. В конце концов удалось установить: подразделение, где я служил, размещалось в Комаровке. Это там же, по соседству.

Естественно, все кусты по речке, по склонам сначала немцами, потом нами были спилены, срублены, сожжены, употреблены на перекрытия. Армия — это ведь бедствие для леса. Спиливают все подряд. Нужны укрытия для командных пунктов, для артиллерии... Когда армия уходит, после нее остается выеденная и вытоптанная земля. На любой войне. Лошади монголов, к примеру, выедали все до корней, после себя конница оставляла пустыню, изрядно удобренную навозом. И это спасало людей. А мы, уходя, оставляли спиленные деревья, все разрушенное, съеденное до конца и, как здесь, в битве на Днепре,— бесчисленные трупы. Конечно, теперь над рекой выросли новые деревья и новые кусты. Средь бела дня доносилось кукование кукушки... Стоял, вспоминал, слушал.

Что интересно, с течением времени деревенские хаты не перемещаются никуда. Они могли гореть, быть разрушены, сейчас вовсю заросли деревьями, подпорченными Чернобылем, но все равно «привязку» к земле меняют только казенные здания, а не хаты. Это удивительно.

Рисунок села узнаваем, но каким-то смутным контуром. И я боюсь доверяться памяти. Это только генералы верят, что их память безупречна. Иной из них и через полвека с точностью до минут сообщает: в 0.15 я отдал такой-то приказ, в 0.16 выдвинулись два бойца и четыре танка... Сомневаюсь, чтобы человеческая память была столь идеальной. Вот пример. На встрече с местными жителями одна женщина рассказывала, как до сих пор помнит убитых наших бойцов: на их белых полушубках алела кровь. Такой сохранила картину ее детская память. Утверждает, будто наши солдаты были одеты непременно в полушубки. Но я-то знаю, полушубки получали далеко не все. И кинохроника за меня: там, на экране, идут в телогрейках, шинелях, в обмотках... Но женщине запомнились бойцы в полушубках. Что поделаешь, прихоть памяти. Впрочем, я знаю этому объяснение: на белом кровь видна сильнее и оттого запечатлевается в сознании.

Но это частности. А теперь о более существенном. В Корсунь-Шевченковском военном музее я посмотрел кинохронику 44-го года. Показана страшная правда, но и в ней уже умудрились кое-что подправить — вырезали маленький кусочек пленки. На экране слышишь непонятное слово, оканчивающееся на «ин» (Конев выступает). Что за «ин»? «Сталин», конечно. Зачем такое вмешательство в исторический документ? Что ж мы так и будем — то Сталина «вырезать», то Хрущева?

— У нас постоянная «чесотка» — хвататься за ножницы. А ведь если факт почему-то не нравится, можно пользоваться комментарием, как это принято у цивилизованных наций.

— С ножницами лезут и в художественный текст. В «Пастухе и пастушке» я рассказал, как однажды издалека видел командующего. Эту фигуру я писал с Конева, хотя несколько видоизменил образ (писатель имеет на то право). Так вот, командующий мне запомнился такой деталью: горло его было повязано деревенским шарфом, а рукой, обличенной в солдатскую рукавицу, он все время вытирал нос — у командующего был сильный насморк. Представьте, идет битва, по его приказу мнут человеческое мясо, а он, простой смертный,—простыл, у него насморк, температура, наверное. Потом по повести снимали фильм. Смотрю, сначала шарф на командующем есть, а в следующих кадрах — уже нет. Киношники почему-то убрали его: раздражал, что ли? Слыхано ли — маршал в деревенском шарфе да еще с насморком...

Мы вообще не очень человечны. Долгое время я вел одно расследование. Писателям, артистам, военным задавал вопрос: «Как вы относитесь к тому, что наши не сдали Ленинград?» Тем самым для себя самого через этот вопрос проверял состояние нашей гуманности. И вот что поразительно: только пять или восемь процентов ответили, что город надо было сдать. Остальные говорили: ни в коем случае.

— И что же тут удивительного для вас? Патриотизм — одна из граней духовности. Разве не так?

— Миллион жизней — за город, за коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, но жизни не вернешь.

А под Ленинградом? Люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью! Детей, стариков...

— Простите, но ведь не о камне же речь... Судьба Ленинграда — это, конечно, трагедия. А трагедия не знает одномерных развязок. И всегда ли оставленный город — спасенный город? Ведь известно, какое страшное будущее готовили гитлеровцы Ленинграду и ленинградцам. Нет, ваши рассуждения не убеждают меня. Разум и сердце не согласуются между собой.

— Потому что во многом мы еще заложники жестоких, антигуманных догм. Человек не понимает боли, пока не испытает ее сам. Дай ему кирпичом по голове, тогда он скажет: «Кирпичом по голове бить не надо». Не корми его трое суток, он, быть может, согласится: да, ленинградцы умирали мучительно. Но ведь истинный гуманизм не обязательно приходит через личный опыт. Сострадание должно быть в нас изначально. И сознание того, что ничего на земле нет выше человека. Возможно, это станет основой нравственности лишь в грядущем веке.

— Так-то оно так. И все же — сдавать противнику собственные города... Вы не опасаетесь, что получите уйму писем от тех, кто будет резко не согласен с вами?

— Ну и что? Получу. Заранее знаю, что получу. Опросы, о которых я говорил, не дают повода рассчитывать на что-то иное. Но думать-то от этого я не могу по-другому. Скажу откровенно, мне кажется, человечество неизбежно придет к такому же пониманию гуманности, что и я,— только не теперь и не завтра. Повторяю, может быть, век спустя...

А чьими-то несогласиями меня не застращать—за свою жизнь я столько спорил и противился, что привык уже. С одними генералами навоевался вдоволь...

— Как вы считаете, а не «отболела» ли вообще военная тема в нашей литературе? Я не имею в виду, что о Великой Отечественной не будет отныне написано ни одной новой книги, нет. Речь о том, исчерпала ли литература до конца эту тему в нравственном смысле?

— Мы еще и не начинали как следует рассказ о войне. Еще на подступах к этому. Надо хотя бы описать исторические факты и частные судьбы солдат. Роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», повести Юрия Гончарова, Константина Воробьева, Виктора Курочкина, рассказы Евгения Носова, проза Василия Гроссмана привлекают внимание читателей своей необыкновенностью. А какая в них необыкновенность? Просто сказана частица правды. Литература о войне еще только начинается. А то была всего лишь подготовка, и не артиллерийская, а так — минометная.

— Но заглянем вперед. Будет ли интересно чтение о войне через поколение? Или только историческое знание способно привлечь грядущего читателя к военным страницам?

— Это зависит от литературы, а не от поколения. От качества письма. Сравните: вдруг нам стало интересно читать о коллективизации, хотя, казалось бы, нам, нынешним, наплевать на то время. С военной литературой может произойти то же самое. Мы так много наврали о войне, так исказили ее, до того написали «другую» войну, что последующей литературе еще предстоит «победить» ныне существующую. Победить сложившиеся стереотипы и фальшь. Предстоит заново поднимать военную целину.

— Хорошо, оставим прошлое, вернемся в наши дни. Сейчас иные писатели сетуют, что чересчур много уделяют внимания публицистике. Обещают засесть за роман или повесть о современности, за поэму и стихи, а глядишь — снова очерк или статья на кричащую тему. И публика с жадностью читает такое, прощая писателям «художественное молчание». Чем все это объяснить? И надолго ли такое положение вещей — лидерство публицистики?

— Какое лидерство? О чем вы говорите?! Истинная литература не знает никаких жанровых границ, русская литература — тем более. Она многообразна и всегда публицистична. Что, Толстой не публицистичен? Достоевский, Горький? У Горького Сатин произносит со сцены целые монологи, похожие на лозунги и прокламации: «Человек — это звучит гордо» или «Человек выше сытости». Лермонтов публицистичен, Пушкин, Глеб Успенский. Вспомните у Пушкина: «Глаголом жги сердца людей»...

— Значит, вы сами как прозаик не горюете, что очерк или злободневная статья отбирают вас у повести или романа?

— Да я не задумываюсь над этим за письменным столом.

— По какому же принципу тогда работаете? Пишете то, что в данный момент вас преследует?

— «О чем писать, на то не наша воля», — сказал поэт Николай Рубцов. Кажется, задолго до него нечто подобное говаривал и Аристотель.

— Тогда конкретнее — о злободневном. Виктор Петрович, как вы относитесь к тому, что наш государственный дом оказался сейчас разворошенным, повсюду зияют одни прорехи? Иных это страшно пугает. А вас? Что видится вам в ближайшем будущем страны?

— С тревогой, настороженностью, с большим смятением смотрю в завтра. Потому что, действительно, нам выдан последний шанс. Я-то, слава богу, пожил. Но у меня внуки, моя страна, пусть полуразрушенная, с полународом, с пустой Россией, и все-таки она есть. И как всякий живой человек, я хочу надеяться на возрождение. Увы, возрождения как такового не происходит. Пока вижу лишь латание самых зияющих дыр. Мы настолько захудали, что любая латка нам уже кажется победой. А каких-то коренных изменений в характере общества, в отношениях внутри его пока не происходит. А если и случаются подвижки, то с судорожным, порой озлобленным надломом. Экономического развала я не касаюсь, говорю лишь о нравственной стороне. И что ждать от будущего, сказать не решусь.

— Одни говорят, возрождение надо начинать с экономики, другие — с духовности. За что же браться прежде всего?

— Каждый пусть начнет с себя. Я и раньше считал и теперь считаю: необходимо стремление к самоусовершенствованию. Как может возродиться общество, если не возродишься ты, он, она? Если нет идеала внутри тебя, нет стремления очиститься самому — что же в таком случае может ожидать общество?

— Проходит время, а перемены весьма и весьма незначительны. Получается, будто с каждым потерянным днем время все больше становится нашим соперником. Нам предстоит как бы преодолевать не только самих себя, но и инерционный маховик дней, недель, месяцев. Появились первые признаки апатии...

— Не думаю, что какие-то процессы могут обернуться вспять. Нет, многое мы уже преодолели в себе. Взять хотя бы прессу. Она и смела, и раскрепощена. Но тут важно избегать дешевой сенсационности, экзальтации. Само общество еще не может разобраться в себе, по силам ли такое одной газете или одному журналу? Необходим терпеливый и серьезный процесс, а опережать его и кричать, что ты умнее других, да еще и улюлюкать при этом — не дело. Важно не шарахаться, быть сдержанным, иногда даже наступая на горло собственной песне. Конечно, читатель охоч до сенсаций, но истина все же превыше крика. На крутых поворотах поддаться истерии легко, да делу это не в помощь.

— Ваше мнение о создании альтернативных групп внутри Союза писателей. Как вы относитесь к движениям «Апрель», «Обновление», «Зеленый мир», возникающим в писательской среде? И вообще шире — как вы оцениваете нынешнее состояние этого творческого союза?

— Как отношусь к так называемым неформальным движениям? Тут у меня встречный вопрос: а что такое «формальное» движение? Партия? Официоз, который существует? Значит, то, что у руководства,— формальное, а то, что возникает стихийно, — неформальное, да? Это не совсем точно. Ну да бог с ней, с теорией. Важнее суть: раз люди хотят разрядиться, ничего в том страшного нет.

Мы просто привыкли десятилетиями молчать или высказываться «под одеялом». Нет, пусть говорят открыто, выражают свое мнение, свое отношение к обществу, спорят о путях его развития. Но дело в том, что партия побаивается, как бы не возникло какое-нибудь параллельное движение, способное со временем обратиться в форму другой партии, как например, общество «Память». И как бы оно не «проглотило» партию. Опасность такая есть — недавние выборы достаточно убедительно показали, что в народе ощутимо недовольство партийным аппаратом. И люди хотят, чтобы их голос был услышан.

Всем нам надо привыкнуть, что человек имеет право сказать свое мнение вслух, порой вовсе не прося слова на трибуне. А то у нас каждый, кто не попросил слова у президиума или не послал записку, уже неформал. Он «не оформлен», чтобы говорить. Нелепость какая-то...

Вообще-то все движения неформалов несколько детского уровня. Как петушки, пробуют голос, кричат кто о чем—и пока, думаю, партии опасаться нечего.

Конечно, неформальные движения уже не остановить. Тот, кто надеется разгромить их, пребывает в иллюзиях. Можно закрыть, скажем, ту или иную группу,—сам же процесс, убежден, остановить нельзя. Как у березы: подпиленные с одной стороны ветки она затягивает соком, который потом превращается в кору и камень, и выбрасывает новую ветку с другой стороны. Ничего не поделаешь — так живет дерево.

— Проясните, пожалуйста, один вопрос. Вы в числе тех писателей, которые олицетворяют так называемое «русское начало» в нашей словесности. Как случилось, что некоторые критики связывают это начало с течением, направленным якобы против происходящих в стране перемен?

— Вопрос ошеломляющий. Я его себе никогда не задавал. Как был русский, так и останусь русским; как думал, так и буду думать. Если кто-то хочет сбить меня с панталыку и вынуждает сказать, что я, русский, стыжусь этого, как стыдится этого один речистый публицист,— тот от меня такого не дождется. Все плохое и хорошее, что сделал русский народ, числится и за мной. Я как стоял на этой земле, так и стоять буду. Если совсем на ней нечего будет жрать и все будет гореть,—стану тушить пожар, может быть, придется отложить авторучку и сеять хлеб—буду сеять хлеб, буду пахать землю, пока не упаду за плугом. А что касается намеков на противоборство с перестройкой, то я столько пережил всяческих наветов, что они меня не трогают совершенно. За моей душой ничего не числится грешного, впереди у меня тоже нет иной темноты, кроме смерти...

Меня когда-то спрашивали: «Ты что, против Советской власти?» Дюжему сытому руководящему детине, который вопрошал такое, я отвечал: «Если ты — Советская власть, то да, против». Если в процессе перестройки я вижу то, что мне не нравится, говорю об этом прямо и в ЦК, и Горбачеву. Мне не нравится Указ о проведении митингов, потому что осуществляют его в России уродливо. Да иначе не умели и не умеют, о чем не могли не знать создатели этого эпического документа. В Сумгаите или в Прибалтике нет специально отведенных мест для собраний и дебатов. А у нас в Красноярске выделили такое место. И где бы вы думали? На острове Татышева, посреди Енисея. Сделали все, чтобы затруднить общение людей. И под благовидным предлогом: из опасения, чтобы никто никому не отдавил ненароком ногу. Какая-то «островная» гласность. Я открыто высказал свое недоумение в ЦК и сказал, что, если исходить из такой логики, высшие партийные конференции следовало бы проводить не в Москве, а где-нибудь на острове Медвежьем. Там полная безопасность, нет даже автомашин и, кроме комара, никто не может потревожить участников форума. Привожу этот факт только как пример: если в перестройке есть какие-то нюансы, с которыми я не согласен, не собираюсь это утаивать. И говорю о том открыто, как говорил до перестройки, на фронте, до фронта...

И, кстати, в январе на встрече деятелей культуры с руководителями нашего государства я просил отменить пресловутый указ о митингах. Вслушайся в мой одинокий призыв наши стойкие руководители, почти уверен, не было бы никаких событий ни в Тбилиси, ни в других землях и городах.

— Сейчас разные издания порой поразному оценивают происходящие события. Иногда дело доходит до прямой конфронтации. Скажите, журнальная литературная борьба — это хорошо или плохо для литературы, для общества?

— Думаю, прекрасно. Еще древние греки выходили на площади и полемизировали между собой, поскольку газет и журналов не имели. В прошлом веке товарищ Добролюбов «поливал» Писарева, Никитенко — своего оппонента. Была острая, захватывающая жизнь духа и самой литературы. Мы как-то подзабыли об этом, редко обращая взоры в прошлое, а зря. Иначе бы не слишком драматизировали происходящие ныне литературные бои.

Ну подумаешь, два журнала спорят между собой. Ан нет, уже слышишь всполошные крики: ай, ай, как нехорошо, по советским постановлениям нужно брататься. Да никогда такого не будет. Всегда существовали и будут существовать разные литературные направления, разные вкусы, привязанности и дарования разных масштабов, отсюда многие несхожести. И слава богу.

Я лично был бы страшно огорчен, если бы моя публицистика, мои повести и рассказы нравились тому, кого я ненавижу. Зачем он мне нужен, этот поклонник, со своим расположением? В любви и ненависти я середины не приемлю. Иногда не только не ищу любви, но даже втайне рассчитываю на чье-то активное неприятие.

И вообще не надо путать литературу с хореографическим училищем, где под музыку и команду поднимают ногу,—хватит, наподнимались уже под бодрые крики вождей, ноги и руки устали от такой физкультуры.

— Ваша резковатость, Виктор Петрович, известна. Добавляет ли она вам новых ран? Признайтесь, как вы относитесь к ответной резкости в свой адрес?

— Моя резкость — и плюс и минус одновременно. Но себя переделать нельзя. Всю жизнь я пишу одни и те же пожелания на своих книгах— рабочему парню, школьнику или партработнику: оставайтесь самими собой.

Почему я вступаю в ту или иную дискуссию,— это не от меня зависит. Должно быть, от каких-то сил, мне не принадлежащих. Отец у меня был довольно трусоватый человек, хотя, кстати говоря, дважды сидел в тюрьме. Я ни разу не сидел, но это не значит, что я самый храбрый. Знаю людей, которые, не испытав никаких тягот судьбы, занимали солидные посты, ели сладкий хлеб, но были такими трусами, что о них вытирали подметки все, кому не лень.

— Но вам-то самому в тягость свой характер или вы его несете как крест— какой дан, такой и дан. Или иногда все же корите себя: зря, мол, ввязался в спор, в драчку, по горячности, по неосмотрительности...

— Манией гениальности я никогда не болел, наоборот, как и многие писатели из моего окружения, страдал больше от чувства какой-то неполноценности. Может быть, потому, что с детства не раз слышал в свой адрес: «быдло», «пойдешь в тюрьму». Что касается самого характера, то больше всего от него страдает моя жена. Но она же больше всего на него и влияет.

— Мягкостью?

— Нет, сдержанностью. Мы живем вместе сорок пять лет. И чтобы выдержать такого типа, как я, надо обладать незаурядным терпением. Но подробно говорить о своих дурных чертах воздержусь — уже поздно виниться. А то скажу, да исправить не успею.

Но ничего, и при своих недостатках я живу на свете шестьдесят шестой год и не совершил никаких позорных поступков, вырастил детей, ращу внуков, пережил, конечно, несчастья всякие, немало испытал поворотов в судьбе. Если бы кто-нибудь спросил, хотел бы я поменять свой характер, будь такая возможность, ответил бы — нет. А вот изменить кое-что в судьбе согласился бы. Попросил бы, чтобы оставили дольше пожить мать.

Страдаю, что некоторые черты характера, присущие мне прежде, утрачиваются. Я ведь был очень общительный и веселый. Петь умел, знал уйму анекдотов. У меня прекрасная память, особенно на пакости. А сейчас все чаще испытываю желание побыть одному. Жены и то, бывает, сторонюсь, хотя такая писательская жена, может, в нынешней литературе только и есть одна—кто знает, подтвердит. Но теперь все чаще испытываю сладость одиночества, доволен, когда вокруг никого. Считаю, это уже дурные перемены.

— А может быть, тут повинен возраст? С годами человек склонен все чаще оставаться наедине со своими думами. Наверное, для того, чтобы осмыслить прожитое.

— Зачем? Молиться богу?.. Не скрою, иногда и меня потягивает молиться. От дум, наверное. Налипают усталость, боль. Случается, в постели всего трясет ни от чего. И лежишь полубольной. Вдруг начинает нога болеть. Что ж она, зараза, в детстве ломаная, столько лет помалкивала, а теперь вздумала ныть? А тут жена заходит, и не сдерживаешься. А зачем ее-то обидел? Чего прогнал? Она тоже одинока, пришла с тобой пообщаться.

Как-то жена мне сказала: «Ты уже трое суток со мной не разговариваешь». В самом деле, трое суток. Когда пишу, не замечаю время, оно у меня свое. Там, в будущей книге, свои миры, там у меня любовь, там женщины другие ходят. За письменным столом, бывает, не видишь смены дня и ночи, не то что про жену—про себя забываешь. Вот и каешься потом.

— Вы запоем работаете?

— Всегда.

— Но бывают простои? Когда, предположим, выписался эпизод или сцена, а дальше не все ясно. Вы мучаетесь, что идет простой?

— Нет, никогда. Без сожаления расстаюсь с сюжетом, если он меня целиком не забирает: значит, это не мое. Совершенно не признаю правила «ни дня без строчки».

Долго я работал над «Последним поклоном». Потом десять с лишним лет не прикасался к тексту. А доработать надо было. Неудовлетворенность толкала. Я сел и довольно легко восстановил прежнюю интонацию — вот была радость. А мозолить задницу, подбадривая себя лозунгом «ни дня без строчки»,— такое, скорее, труд ремесленника.

— Пушкин, вероятно, в этом вопросе должен вас устраивать?

— Конечно. Вообще я читаю сейчас Пушкина постоянно, особенно его письма. И к Гоголю возвращаюсь. Какая раскованность душ, озорство, фейерверк чувств! Читаешь Пушкина — и такое впечатление, будто он рядом, наяву. Порой кажется, что в самом деле слышу его голос, подлинный голос. Вообще всех талантливых людей читатель слышит. А посредственная, сконструированная, «головная» писанина имеет способность глохнуть, в ней нет ни музыки, ни интонации.

— Виктор Петрович, не сочтите вопрос бестактным. Помните, Пушкин подзадоривал себя: «Ай, да Пушкин, ай да сукин сын!» Какие свои произведения вы отнесли бы в безусловный актив? О каких вещах могли бы сказать: «Ай, да Астафьев...»?

— Могу, а чего же? Почти сорок лет работаю в литературе и вдруг бы сказал, что никуда не гожусь. И без того самоуничижался достаточно...

Больше других люблю «Пастуха и пастушку». Теперь, правда, возникла потребность вернуться к этой повести заново. Хочу возвратить места, выброшенные цензурой. Ну как выброшенные... Цензура у нас сама ничего не выбрасывает, она просит этим заняться журнал, а тот, в свою очередь, автора. Так было и у меня. Купюры исказили повесть. Теперь хочу придать ей первоначальный вид. Всякая работа такого рода доставляет истинное удовольствие, приходит азарт — отделать вещь так, чтобы комар носа не подточил. Вот Нагибин мне пишет: я люблю читать у тебя те места, которые лучше тебя уже никто не напишет. И добавляет: ты меня извини, Витя, есть страницы, которые мог бы написать я или другие, а есть только твои...

Кроме «Пастуха и пастушки», люблю рассказы «Ясным ли днем», «На далекой северной вершине», несколько «затесей», три-четыре главы из «Последнего поклона». И совершенно отдельно от всего — «Оду русскому огороду». Это уже немало.

— Кстати, вы упомянули о Нагибине. Как вы относитесь к его творчеству? Ведь его проза вовсе не сходна с вашей...

— Люблю в Нагибине кудесника-сочинителя. И, конечно, всегда буду благодарен ему за то, что он основательно мне помог, да еще в трудную пору: способствовал публикации моего первого рассказа в «Знамени». Было это в 1959 году.

— Многие замечают: талантливые люди держат друг друга в поле своего зрения, даже если и не во всем сходятся. Должно быть, дар имеет свойство видеть другой дар. Хочу спросить вот о чем: что лично вы вкладываете в это емкое и таинственное слово «талант»?

— Вот побывал на шевченковском празднике и невольно думаю о доле Тараса Григорьевича. Лишний раз убеждаюсь: талант — это и награда, и мучение. Да, мучение. Сколько бы меня ни убеждали, счастливых «во плоти» писателей, счастливых художников не было на земле. Возьмите автора «Дон Кихота», самой великой книги человечества. Изувеченный, искалеченный, посидевший в тюрьме...

Талант — и сладостный дар и мучение. О даре мы еще мало-мальски помним — тут и гонорары и премии, а о муках творчества вспоминаем гораздо реже. Муки обычно признаются лишь после смерти художника.

Судьба Шевченко... Одна из мучительнейших жизней на земле. Ведь он мог бы ограничиться рисованием. Писал бы картины, продавал бы их—и безбедно жил бы. Во всяком случае на уровне украинского помещика средней руки: имел бы усадьбу, свой дом, свой угол. Но в том-то и дело, что талант не отпускал ему такой доли и такого права. Силы, подарившие ему художнический и гражданский дар, отвергали и такую жизнь и такие поступки. И потому из года в год длилась нескончаемая дума Тараса Григорьевича. Перечитайте его изумительные стихи — сколько в них и нежности, и боли, и стона. Он кроет и земляков своих, и поляков, и немцев, и москалей, буквально пронизанный болью за «ридну маты» Украину. Это и есть дар — дар боли, дар жить на высоком духовном подъеме самосгорания. И такое чувство, будто за него, Тараса, кто-то свыше распорядился его собственной жизнью.

— А вы сами стихи когда-нибудь писали? Или только прозу?

— Писал, а кто их не писал? И сейчас, когда надо строфу или несколько строк вставить в прозаическую вещь или в сценарий, сам пишу. И все больше во сне.

— Записываете?

— Нет, нет. Для меня стихи лишь сопутники творчества.

— О стихах я спросил не случайно. Тут, на теплоходе, среди собратьев-писателей, вы обронили в адрес современных стихотворцев такой глагол — «верещат». Кое-кого это могло бы и обидеть. И меня заинтересовало: в самом ли деле Астафьев так относится к нынешним поэтам или ненароком оговорился?

— Не оговорился. У нас много поэтов, которые действительно верещат. Всю жизнь верещат. Конечно, я не имею в виду серьезных мастеров—таких, как Твардовский, Смеляков, Василий Федоров, таких, скажем, как Казанцев или Юрий Кузнецов... Но уж больно много тех, кто «верещит».

— Обычно писателя спрашивают о творческих планах. Порой такой вопрос ставит в неловкое положение. Я сформулирую его иначе: что вам еще так и не удалось осуществить за письменным столом?

— Пока не удалось закончить начатый роман о войне. Надеюсь, жизни моей хватит, чтобы его завершить.

— А теперь из другой сферы. В ближайшие десять лет социологи предсказывают снижение у нас читательского бума. Они связывают это с определенным насыщением книжного рынка. Если такое случится, возможно, отчасти снизится интерес к писательским именам. Скажите, вас занимают подобные прогнозы?

— Не очень. Но уж коль вы любопытствуете, отвечу. Если наше взбудораженное общество через десяток лет не утратит нынешней гражданской страстности, не предвижу никаких признаков снижения читательских интересов. А если нам удастся еще и прибавить по части гласности и демократизации, можно ожидать только усиления тяги к книгам, газетам, журналам, полемическим выступлениям.

Со временем сойдет неизбежная пена, и мы, надеюсь, перейдем в естественное состояние общества, которое постоянно обдумывает свое житье. Но не так нервно. Сейчас, к сожалению, нередко ощущаешь взвинченность.

— И последний вопрос. О чем я не спросил вас?..

— Вы не спросили о том, о чем не спрашивает никто: как я себя чувствую, как мне живется и работается с одним глазом... Это не от вашей личной жестокосердности. От всеобщей привычки. Могу понять: интервью — профессиональная задача, и журналист на ней целиком сосредоточен. А чтобы подумать обо мне... Не до того. Вот и закончите интервью признанием: мол, было неловко перед Астафьевым, но утаить его укор не могу. Договорились?.. Если человек умеет искренне повиниться в душе, это тоже что-нибудь да значит...

Однажды вечером, проходя мимо каюты Астафьева, я услышал звуки баяна, сопровождавшие чей-то сильный баритон. Заглянул «на огонек». Виктор Петрович сидел на том же диване — добродушный, довольный, увлеченный. Напротив в кресле восседал богатырского сложения баянист.

— А теперь эту сыграй, Ваня,— почти умоляя, просил Астафьев. Потом:— А эту помнишь? Ну-ка...

Все песни были военной поры: и «Землянка», и «Враги сожгли родную хату», и «Спит городок...», и еще разные.

— Жаль, что ты, Ваня, не знаешь полковых и батальонных песен,— горевал Виктор Петрович.— А ведь на войне они жили, считай, в каждом подразделении.

И вдруг запел сам, сперва неловко, перебарывая возрастную хрипотцу, почти речитативом, потом все уверенней и теплей. Баянист слышал мелодию впервые и на ходу торопливо подбирал сопровождение.

Позже мы разговорились с артистом Киевской филармонии Иваном Брязуном. И он рассказал, как было дело:

— Я выступал в музыкальном салоне теплохода. Вдруг подходит Виктор Петрович, представляется. Кончится концерт, говорит, загляни в 431-ю каюту, я тебе книги свои подарю за твои добрые песни. Так познакомились. Никогда не думал, что буду петь для Астафьева и даже на два голоса с ним. Замечал: у людей, прошедших войну, ощущаешь стоящий в глазах огонь. Тот же огонь— и в астафьевских глазах...

Беседу вел
Евгений ДВОРНИКОВ.
Фото П. Кривцова.